

М. Н. Загоскин

Вечер на Хопре

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6
ББК 84-4
3-14

3-14 **Загоскин М.Н.**
Вечер на Хопре / М. Н. Загоскин – М.: Книга по Требованию, 2021. – 74 с.

ISBN 978-5-4241-3094-6

Михаил Николаевич Загоскин справедливо считается "отцом исторического романа" в России. Современники называли Загоскина "русским Вальтером Скоттом", его произведения высоко ценили Пушкин и Белинский.

"Талант Загоскина - самобытный, оригинальный, исключительно русский; в этом отношении он не имеет соперника", - писал в биографии Загоскина С. Т. Аксаков, считавшим его единственным исключительно русским народным писателем.

Цикл повестей «Вечер на Хопре», написанных в «готическом» стиле романтизма, интересен не только ярким сказочно-фантастическим колоритом, но и богатым фольклорным материалом, что роднит его с известными произведениями Н. В. Гоголя.

ISBN 978-5-4241-3094-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М.Н. Загоскин, 2021

Михаил Николаевич Загоскин
Вечер на Хопре

ВСТУПЛЕНИЕ

Дядюшка моего приятеля Заруцкого, Иван Алексеевич Асанов – дай бог ему царство небесное, – был старик предобрый. Никогда не забуду я нескольких дней, проведенных мною под конец осени, помнится, в 1806 году, в его саратовской деревушке, на Хопре. Как теперь, гляжу на десятка два крестьянских изб, разбросанных по высокому берегу реки, на его огромные кирпичные палаты, построенные, на диво всему Сердобскому уезду, в два этажа, со сводами и с такими толстыми стенами, что от них, как мячик, отскочило бы сорокавосьмифунтовое ядро.

Я не был еще знаком с Иваном Алексеевичем, когда приехал по делам в Сердобск. Имея рекомендательное письмо к городничему, я остановился у него в доме и тут-то в первый раз услышал о богатом помещике, отставном секунд-майоре Асанове. Не проходило дня, чтоб в сердобском высшем обществе не толковали о его странностях и причудах. Городничий, уездный судья, стряпчий – словом, все власти и первостатейные сановники города Сердобска относились об нем с весьма дурной стороны; одни говорили, что он нелюдим и гордец, другие называли его полоумным; были даже добрые люди, которые уверяли, что будто бы он никогда не ходил к обедне и что в его доме нет ни одного образа. Правда, капитан-исправник всегда восставал против этой клеветы, но так как он один из всего Сердобска водил хлеб-соль с Иваном Алексеевичем, то никто и не давал веры его словам. «Воля твоя, Дмитрий Иванович, – говаривал ему часто городничий, – воля твоя, а это что-нибудь недаром: кто не хочет жить с людьми, у того совесть не чиста. Добро б он был человек скупой – так нет! Посмотри, как сорит деньгами! Когда прошлого года был пожар в слободе и открыли подписку на погоревших мещан, так он один дал больше, чем все наше дворянское сословие. Ну, рассудите милостиво, господа, что он, для экономии, что ль, живет в этой хоперской деревне, в которой, чай, нет господской запашки и двадцати десятин во всех полях? Человек он богатый: за ним в одной Пензенской губернии с лишком тысяча душ. Вот хоть его Засурская волость: есть к чему руки приложить, десятин по пятнадцати на душу, – а угольев-то сколько: поемные луга на Суре, строевой лес, мельница о восьми поставах – подлинное золотое дно! Не хотелось жить в деревне – Пенза под боком. Конечно, – прибавлял обыкновенно городничий, поправляя с важностию свой галстук, – у нас и в Сердобске общество дворян прекрасное, но ведь Пенза – губернский город, да еще какой!.. Одна Петровская ярмарка чего стоит! Публика отличная, просвещенная, благородные собрания, театр, воксалы, Английский клуб (говорят, однако же, что он рушился), балы – словом, чего хоешь, того просишь. А что всего-то лучше, губернатор с вице-губернатором живут всегда в ладу, сплетней никаких нет, барыни меж собой никогда не ссорятся, и куда ни сунься, везде так и режут по-французски. Что и говорить – Пенза – городок Москвы уголок!»

Хотя сии блестящие похвалы губернскому городу Пензе казались мне всегда несколько преувеличенными, но, не смотря на это, я разделял сначала безусловно мнение городничего. В самом деле, что за охота богатому человеку жить затворником в бедной деревушке, верстах в тридцати от уездного города и, по крайней мере, в двадцати от самого ближайшего соседа, и жить в каком-то закол-

дованном доме – так прозвала каменные палаты Ивана Алексеевича сестра городничего, девица зрелых лет, с лицом несколько уже поблекшим, но с юной душой и сердцем отменно романтическим: одна она выписывала из Москвы все романы знаменитой Радклиф¹ и первая известила сердобских жителей о существовании госпожи Жанлис².

– Вы не можете себе представить, – говорила она мне однажды, – какой ужас наводит на всех этот старый дом, которому недостает только башен и подъемного моста, чтоб походить совершенно на Удольфский замок или Грасфильское аббатство. Если б вы знали, сколько рассказывают о нем чудных и страшных повестей. Говорят, что лет сто тому назад прежний помещик держал в нем разбойничью пристань, что глубокие погреба под этим домом завалены человеческими костями, что по ночам происходят в нем необычайные явления: слышен громкий стон, и хотя капитан–исправник уверяет, что будто бы это воет ветер по узким коридорам и переходам, которых понаделано в доме великое множество, но он говорит это потому, что живет в ладу с Асановым. Покойная моя мамушка рассказывала мне преужасную историю об этом доме; странно только, что я почти совсем ее забыла, а, кажется, это не так давно; правда, я была тогда еще совершенным ребенком и, как помню, так перепугалась, что не могла заснуть всю ночь. В этом рассказе есть разбойники, мертвецы и какой-то ночной поезд; мамушка божилась мне, что это не сказка, а был и что во всем здешнем уезде нет ни одного старика, который не знал бы эту повесть со всеми ее подробностями. Говорят также, что будто бы от времени до времени то же самое, что случилось некогда ночью в этом нечистом, заколдованном доме, повторяется и теперь, а особливо с тех пор, как нынешний помещик переехал в него жить.

– А разве до Ивана Алексеевича Асанова никто в нем не жил? – спросил я сорокалетнюю сестрицу городничего, которая так еще недавно была ребенком.

– Да, никто. Лет двадцать сряду все двери и окна на глухо в нем были заколочены.

«Ну, жаль, что Иван Алексеевич незнаком со мною», – думал я, очень часто слушая все эти рассказы и толки. Стыдно признаться, а грех утаить, я всегда был смертельный охотник до страшных историй и не только верю, но даже не сомневаюсь в существовании колдунов, привидений и мертвецов, которые покидают свои могилы, так же как и огненных змеев, которые летают к деревенским вдовушкам и, рассыпаясь над кровлями изб, являются к ним в виде покойников, о коих они тоскуют. Я скорее посомнюсь, что Киев был столицею великого князя Владимира, чем поверю, что в нем никогда не жили ведьмы, и, признаюсь, пиитический Днепр потерял бы для меня большую часть своей прелести, если бы я не верил, что русалки и до сих пор выходят из лесов своих поплескаться и поиграть при свете луны в его чистых струях, что они, как рассказывает один из наших поэтов:

То в восторге юной радости
Будят песнями берега;
Иль с беспечным смехом младости
Ловят месяца рога
На пучине серебристые.
Или плеском быстрых рук
Брызжут радуги огнистые,

Резвятся в волнах – и вдруг
Утопают, погружаются
В свой невидимый чертог...³

Не могу описать, какое неизъяснимое наслаждение чувствую я всякий раз, когда слушаю повесть, от которой волосы на голове моей становятся дыбом, сердце замирает и мороз подирает по коже. Пусть себе господа ученые, эти холодные разыскатели истины, эти Фомы неверные, которые сомневаются даже в том, что лешие обходят прохожих и что можно одним словом изурочить человека, смеются над моим легковерием; я не променяю на их сухие математические выводы, на их замороженный здравый смысл мои детские, но игривые и теплые мечты. Одно только меня всегда огорчало: несмотря на русскую поговорку, что «на охотника зверь бежит», во всю жизнь мою не удавалось мне видеть ничего чудесного, и даже все колдуны, с которыми я встречался, как будто на смех, были самые обыкновенные обманщики и плуты. Я наверное знаю, что многие, смотря в два зеркала, поставленные одно против другого, видят и бог весть что, а я смотрел однажды до тех пор, пока мне сделалось дурно и в глазах позеленело, а не видел ничего, кроме бесконечной перспективы и какого-то туманного пятна, которое, как открылось после, было не что иное, как простое черное пятно на зеркале. Уж я ли, кажется, не старался все испытывать! Года два тому назад ходил в Иванов день ночью в лес подкараулить, как цветет папоротник⁴, но, когда время стало подвигаться к полуночи, на меня напал такой страх, что я пустился бежать без оглядки и хотя слышал позади себя необычайный шум и свист, но не могу сказать наверное, нечистая ли сила это проказила, или просто гудел ветер по лесу. В другой раз, когда я жил еще в степной моей деревне, я решился идти в полночь на кладбище. «Авось, – думал я, – хоть один мертвец вылезет из своей могилы прогуляться по церковному погосту». И в самом деле, когда я подошел к кладбищу, то увидел между могил что-то похожее на мертвеца в белом саване. Ах, как забилося мое сердце от страха и удовольствия! Каким приятным холодом обдало меня с головы до ног, как подкосились подо мною колени! И теперь вспомнить не могу без восторга об этой ужасной и восхитительной минуте. Крестясь и творя молитву, я пустился бежать домой, бросился на мою постель и всю ночь то бредил, как в горячке, то дрожал, как в лихорадке. «Итак, – думал я, задыхаясь от радости, – этот безвестный мир существует в самом деле; мертвецы бродят по ночам около могил; души усопших посещают землю, и все то, что господа педанты называют суеверием, обманом, белой горячкой, есть истина». И что ж, любезные читатели, как вы думаете, чем все это кончилось? На другой день я стал рассказывать о сем приключении бурмистру моему Федоту; этот негодяй засмеялся и сказал мне:

– Вы напрасно извоили перепугаться, сударь, ведь это шатался по кладбищу староста Тихон, он болен горячкою и прошлую ночь выбежал из избы в то время, как все спали.

– Как! – вскричал я. – Так это был не мертвец?

– И, батюшка барин, – отвечал Федот, скривя свою безобразную харю, – какие нынче мертвецы! Ведь в старину народ был глуп: всему верили, а теперь и малого ребенка не испугаешь этими бабьими сказками.

«Бабьими сказками!!» Вся кровь моя взволновалась, я затопал ногами, закричал – и если б этот вольнодумец Федот не ушел из моего кабинета, то непременно

но вцепился бы ему в бороду. Да и как было не взбеситься? Подумаешь, господи боже мой! Добро бы в Петербурге или в Москве, а то и в деревнях уж стали умничать!

После всего сказанного мною читатель может себе представить, желал ли я познакомиться с Иваном Алексеевичем Асановым; но никто, даже сам капитан-исправник, не брался привезти меня к нему в деревню, и я начинал терять уж всю надежду, как вдруг одним утром, проходя базарную площадь, увидел, что кто-то едет в дорожной коляске, глядь поближе – старинный мой приятель и сослуживец, Заруцкий. Мы вскрикнули оба в один голос, экипаж остановился, Заруцкий из него выскочил, и пошли расспросы:

– Откуда бог несет?

– В деревню, к дяде. А ты как здесь?

– По делам.

– Поедем вместе со мною. Я познакомлю тебя с дядюшкой, он старик предобрый.

– Нет, милый, не могу; мне надобно много еще хлопотать по моему делу.

– Поедем, братец, ведь это близехонько, верстах в двадцати отсюда, на Хопре...

– Верстах в двадцати!.. На Хопре?.. А как зовут твоего дядю?

– Иваном Алексеевичем...

– Асановым?

– Да.

– О! Если так... едем, мой друг!

– Ты знаком с ним?

– Нет, но я так много о нем слышал... Подожди! Я сейчас заверну домой, возьму с собой узелок, прибегу назад, и катаем!

Как сказано, так и сделано – через четверть часа я сидел уж подле Заруцкого в венской его коляске, которая, покачиваясь на гибких рессорах, понеслась, как из лука стрела, по кочкам и колеям проселочной дороги. Сначала ретивые кони рвались один перед другим; но, пробежав верст двадцать, стали призадумываться и наконец, поднявшись с трудом на крутую гору, пошли смиренным шагом. Вокруг нас виды были довольно приятные: с левой стороны расстилались золотистые поля, на которых кое-где разбросаны были запоздалые копны сжатого хлеба; с правой тянулся густой лес, и от времени до времени вдали, сквозь широкие просеки, светлелись голубоватые воды живописного Хопра. Пока усталые кони, идя шагом, отдыхали, Заруцкий рассказывал мне про настоящее свое житье-бытье, про сельские хлопоты, хозяйство и, наконец, про пламенную любовь свою к какой-то деревенской соседке, молодой вдовушке, «которая, – говорил мой приятель, вздыхая и закуривая четвертую трубку, – поклялась уморить меня с тоски и до тех пор не давать решительного ответа, пока она не износит полдюжины черных платьев из какой-то фланели, видно казенной, потому что они другой год не могут износиться, и, верно, в огне не горят и в воде не тонут. Чтоб поразмыкать мое горе, – продолжал Заруцкий, – я вздумал съездить недельки на две погостить у моего дяди и очень рад, что встретился с тобою».

– Да рад ли будет этому твой дядя? – прервал я. – Мне весьма приятно с ним познакомиться, но, говорят, он такой нелюдим...

– Да, он неохотно заводит новые знакомства, а особенно с нашими уздными

дворянами. Они такие чопорные, считаются визитами, а он человек старый, любит покой и больно тяжел на подъем. Ты – дело другое, ты человек заезжий, а сверх того – старинный приятель и сослуживец его племянника, которого он любит, как сына родного; да, правда, и я его очень люблю.

– Скажи, пожалуйста, что ему за радость жить в этой глуши?

– У него есть на то свои причины.

– А например?

– Это целый роман, мой друг. Прежде всего надобно тебе сказать, что во время оно дядя мой, Иван Алексеевич Асанов, был человек бедный; он не мог даже и мечтать о наследстве, которое досталось ему после; и в самом деле, могли бы думать, что четверо двоюродных братьев, два племянника и три племянницы умрут в одну неделю от чумы, которая в 1771 году пожаловала в Москву⁵. Деревня, в которой живет теперь Иван Алексеевич, принадлежала местному помещику Глинскому, скупому, злому и, если верить изустным преданиям, настоящему разбойнику. У этого Глинского была дочь, прекрасная лицом, еще прекраснее душою. Не знаю, где и когда мой дядя с нею встретился, как познакомился с ее отцом, только дело в том, что он влюбился по уши в Софью Павловну – так звали дочь Глинского, – а на беду, и она его полюбила. Однажды на отъезде по полю, рыская вместе с отцом своей любезной за зайцами, дядя мой решился открыть ему свою душу. Глинский взбеленился, осыпал его ругательствами, назвал нищим и объявил, что если он когда-нибудь близко подъедет к его деревне, то он выпустит на него целую стаю гончих и затравит, как красного зверя. Дядя мой уехал в армию, дрался так, что Суворов прозвал его чудо-богатырем, и, проколотый наветом штыком в сражении с Огинским при Столовичах⁶, на диво всей армии, остался жив, выздоровел, узнал, что ему упало с неба богатое наследство, поскакал в Сердобск; но было уже поздно. Софья Павловна, зачахнув с горя, давно покоилась на деревенском кладбище, а отец ее, спустя два месяца после ее смерти, сломил себе шею, травя волка. Дядя мой вышел в отставку, поклялся никогда не жениться, добился наконец, что ему продали эту деревню, и поселился в доме, где некогда жила его любезная. «Господь не допустил меня быть мужем Софьи Павловны. Его святая воля! Но если мне не суждено было жить с нею на земле, так по крайней мере в земле-то я буду лежать вместе с нею». Так говорит всегда мой дядя, и вот уже скоро десять лет, как он живет безвыездно в этой деревне.

– О! Да твой дядя человек преинтересный! – сказал я. – Знаешь ли, мой друг, что если бы он был помоложе, то я бы не советовал тебе рассказывать всем эту историю... в ней столько романического, что долго ли до беды: как раз найдется новая Софья Павловна, и если ты единственный его наследник...

– Да, мой друг! Но дай бог, чтоб я во всю жизнь мою не вступал в это наследство! И один раз похоронить отца родного тяжело, а дважды на веку остаться сиротою – не приведи господи! Но вот, кажется... так точно! Версты три, не больше осталось. Видишь ли там вдали дубовую рощу?.. За нею тотчас господская усадьба; а вон выглядывает из-за вершин деревьев золоченый крест: это каменная церковь, построенная моим дядей над могилою Софьи Павловны.

– Ах, боже мой! – прервал я, поглядев с ужасом вперед. – Неужели мы спустимся в эту пропасть?

– Постой! – закричал мой приятель. – В самом деле, лучше мы выйдем.

Коляска остановилась, и, пока ямщик с слугою Заруцкого тормозили задние колеса, мы отправились потихоньку вперед. Поросший частым кустарником овраг, через который шла дорога, действительно походил на какую-то пропасть или ущелье, на дне которого журчал мутный поток. Чем ниже мы сходили, тем выше и утесистое становились его песчаные скаты; изрытая глубокими водопромоинами дорога, идя сначала прямо, вдруг круто поворачивая налево и, огибая небольшой бугор, опускалась к мосту, перекинутому через пропасть. Когда я взглянул назад, то мне показалось, что коляска, которая полегоньку стала съезжать вниз, висела над нашими головами.

— Знаешь ли, мой друг, — сказал Заруцкий, указывая на бугор, — что этот холм хотя и не насыпной, а может назваться курганом: он весь составлен из могил.

И подлинно, большая часть его была покрыта возвышениями, и кой-где видны еще были полусгнившие деревянные кресты.

— Неужели это деревенское кладбище твоего дяди? — спросил я.

— Нет, мой друг, здесь похоронены убитые разбойниками.

— Разбойниками? — повторил я, невольно поглядев вокруг себя.

— Не пугайся, — продолжал мой приятель, — это было уже давно. В наше время и слуху нет о разбойниках, точно так же как о ведьмах, колдунах, мертвецах, домовых и всей этой адской сволочи, от которой в старину нашим предкам житья не было.

— Ну, это еще бог знает, — сказал я сквозь зубы, — на разбойников есть земская полиция...

— А на колдунов и мертвецов, — возразил мой приятель, — есть управа, которую зовут просвещением.

— Ох уж мне это просвещение! — прервал я почти с досадою. — Но дело не о том: как могли здесь придерживаться разбойники? Разве тут была когда-нибудь большая дорога? Ведь по проселочным грабить некого.

— Большая дорога отсюда в двух верстах. И вот что рассказывают старики об этом овраге: дедушка бывшего помещика деревни, в которую мы едем, держал у себя в доме разбойничью пристань. Это бы еще ничего, было время, что разбой, а особенно в наших пограничных губерниях, назывались удалством и молодецеством; но вот что было худо в дедушке покойного Глинского: говорят, что он был в дружбе с самим сатаной и, как знаменитый польский пан Твардовский, закабалил ему на веки веков свою душу. Разумеется, ему не было никакой нужды в деньгах: черт помогал ему находить клады и даже иногда шутки ради превращал для него кружки из репы и моркови в серебряные рублевики и золотые ефимки⁷; но он любил для забавы, как на охоту, ездить на грабеж. Спуску никому не было: дворян и богатых купцов он залучал насильно к себе в гости, поил, кормил по целым суткам, а там бог весть что с ними было; только говорят, что кто из этих невольных гостей проезжал в одну околицу, тот уж никогда не выезжал в другую. С простыми людьми не церемонились: их резали на большой дороге и бросали в этот овраг. Впоследствии добрые люди, собрав их кости, похоронили на этом бугре. А так как прошел слух, будто бы каждый год ночью, на родительскую субботу, все эти покойники встают из могил и справляют сами по себе поминки, то это место, которое слыло прежде *Волчьим оврагом*, прозвано теперь *Чертовым Беремищем*. Все это я рассказал тебе кой-как, а надобно послушать моего дядюшку: вот уж если он примется рассказывать эти народные сказки и предания,

так есть чего послушать.

– Сказки! – повторил я с нетерпением. – Почему же сказки? Ох вы умницы! Слушай вас, так ничему верить не станешь.

– Да неужели ты в самом деле веришь этим бредням?

– Эх, братец! Да что мы знаем! Мы не видим далее своего носа, целый век играем в жмурки, а говорим утвердительно: «Это вздор! Это быть не может! Это противно здравому смыслу!» А что такое наш здравый смысл! Сбивчивые соображения, темные догадки, какой-то слабый свет, который иногда блеснет в потемках как будто бы нарочно для того, чтоб после нам еще сделалось темнее. Нетрудно говорить: «Я не верю этому!» А прошу мне доказать, почему и я не должен верить тому, что кажется тебе невероятным? Нет, Заруцкий, я еще не знаю, кто более ошибается, тот ли, кто верит всему без разбора, или тот, для которого все то вздор, чего нельзя изъяснить одними физическими законами природы.

– Знаешь ли, мой друг, – прервал Заруцкий, – что ты непременно понравишься моему дяде. Он так же, как ты, готов рассердиться, если его станут уверять, что души умерших не являются никогда живым, и расскажет тебе сейчас двадцать случаев, доказывающих противное. Но вот уж коляска наша въехала на гору. Не знаю, как ты, а я очень устал. Сядем!

Когда мы проехали дубовую рощу, то каменные палаты Ивана Алексеевича Асанова открылись нам во всем своем угрюмом величии. Они стояли посреди большого двора, за росшего крапивою. Главный их фасад, в тридцать узких окон, с широкими простенками, тянулся поперек всего двора; парадный подъезд с тяжелым навесом на четырех деревянных столбах был пристроен к середине дома, позади которого большой плодовый сад спускался по отлогому скату до самого Хопра; против самых ворот на широком лугу стояла высокая каланча с выкинутым флагом и огромными часами.

– Ого! – сказал Заруцкий, когда мы под громкий лай полдюжины датских и легавых собак въехали на двор. – Да у дядюшки, видно, гости: дормез⁸, бричка и, кажется – так точно! – шегольская тележка сердобского исправника. Тем лучше – нам будет весело.

Двое дюжих лакеев, не роскошно, но опрятно одетых, приняли нас из коляски. Мы вошли в обширные сени. Налево одни двери вели в переднюю, направо, другими, вероятно, входили некогда в девичью, но они были заколочены и закладены кирпичами. (Прошу моих читателей заметить это обстоятельство.) Пройдя бильярдную, столовую и две гостиные комнаты, из коих одна была оклеена китайскими обоями, мы встретили в дверях расписанной боскетом диванной⁹ хозяйина дома.

– Здравствуй, Алексей, здравствуй, мой друг! – закричал он, обнимая несколько раз сряду своего племянника. – Спасибо, что навестил старика, а я так было по тебе стосковался, что хоть нарочного отправлять.

– Рекомендую вам, дядюшка, – сказал Заруцкий, подводя меня к Ивану Алексеевичу, – искреннего приятеля. Мы с ним давно уже не видались, хотя были некогда неразлучными товарищами и в Москве в пансионе, и в Петербурге в казармах, и в танцевальном классе Меранвиля, и в походном балагане под неприятелем – словом, везде. Я давно с ним не видался и, повстречав его в Сердобске, решил захватить с собою и привезти к вам.

– Милости просим! – сказал Иван Алексеевич, протянув ласково ко мне свою руку. – Кто с моим Алексеем побратался на ратном поле, тот всегда будет у меня дорогим гостем. Милости просим!

Не помню, что я отвечал хозяину, а кажется, ничего. Я так был поражен его почтенною наружностью, что позабыл совершенно все употребляемые в сих случаях условные фразы и вежливые уверения, в которых почти всегда ни на волос нет правды. Представьте себе человека высокого роста, лет шестидесяти пяти, в форменном военном сюртуке времен Екатерины Второй; вообразите румяное лицо и черные с проседью волосы, высокий, покрытый морщинами лоб и ясные, исполненные веселости и радушия глаза, величественную осанку лихого полкового командира, которого сам Суворов прозвал чудо-богатырем, и кроткую простодушную улыбку, не сходящую с приветливых уст, осененных парюю густых усов, о которых, вероятно, в старину не раз толковали меж собой миловидные полячки. В жизнь мою я не видавал старика с такой привлекательной наружностью и, признаюсь, нимало бы не удивился, если б какая-нибудь красавица призадумалась, когда б ей дали на выбор или быть его женою, или назвать его своим отцом.

– Не угодно ли ко мне в кабинет? – сказал он. – Ты найдешь там старых знакомых, Алексей. Да прошу покорно не отставать, – продолжал он, обращаясь ко мне, – а не то как раз заплутаетесь. У меня в саду нет лабиринта, но зато в доме, как в траншеех, такие зигзаги и апроши¹⁰, что и толку не доберешься.

В самом деле, мы выходили из комнаты в комнату, прошли двумя темными коридорами, то подымались несколько ступеней вверх, то спускались вниз и наконец, пройдя мимо железных дверей кладовой, помещенной в круглой башне, которая, как говорится, ни к селу ни к городу была прилеплена к левому углу дома, вошли еще в один коридор, в конце которого слышны были голоса разговаривающих.

– Тут была в старину девичья, – сказал Иван Алексеевич, подходя к полуразтворенным дверям, – но так как я человек холостой, то и рассудил закласть в ней одни двери и сделать из нее мой кабинет: зимою эта комната всех теплее и суше. Милости просим!

Судя по величине и первобытному значению покоя, в который мы вошли, нетрудно было отгадать, что у прежнего помещика была большая дворня и что, вероятно, в ней женских душ было более мужских. Четыре окна, обращенные на задний двор, занимали одну из стен ее; на остальных были нарисованы сцены из жизни Суворова. Правду сказать, живопись была не отличная, и, взглянув на нее, я невольно вспомнил *маляра Ефрема*, о котором бессмертный певец Ермака¹¹ сказал когда-то, что он имел чудесный дар и что кисть его

...всегда над смертными играла:

Архипа Сидором, Козьму Лукой писала.

На одной стене Суворов представлен был в лесу спящим на соломе, посреди казачьих биваков; у него вовсе не было шеи, но зато такие длинные ноги, что если бы он проснулся и встал, то, конечно, мог бы облокотиться на вершину высокого дуба, под тенью которого покоился. На противоположной стене тот же самый Суворов представлен был в минуту сдачи Краковского замка¹². Он стоял, вытянувшись, как струнка, и оборотаясь лицом к толпе поляков, с преогромными усами. Несколько французских офицеров, поджарых и тщедушных, изображены